Время мира, вып 1, 1998, с 72–89

Рэндалл Коллинз

ЗОЛОТОЙ ВЕК МАКРОИСТОРИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ

История, отмечал Дюркгейм, должна быть микроскопом социологии. Он имел в виду не то, что история должна увеличивать малое, но то, что она должна быть инструментом, с помощью которого обнаруживаются структуры, не видимые невооруженным глазом.

Программа Дюркгейма в журнале «*Année Sociologique*» не далеко продвинулась в этом направлении, намечая больше статические структуры, чем динамику структурного изменения. Наказ до сих пор остается в силе. Нечто большое и с обширными связями может быть поставлено в центр рассмотрения не иначе как с использованием еще более широкой перспективы. Политические и экономические устойчивые структуры (паттерны), особенно когда они охватывают государства и военные системы собственности и рынки, можно наилучшим образом увидеть при исследовании многих взаимосвязанных историй в течение долгого периода времени. То, чего Дюркгейм хотел для социологической теории, было не микроскопом, а могло бы быть скорее названо *макроскопом*.

Два противоположных взгляда на историю господствовали в XX в. по христианскому календарю, до сих пор используемому на постхристианском Западе. С одной стороны, это был век прежде всего макроистории, в котором впервые стала возможной осмысленная история мира. Гегель, писавший тогда, когда была основана профессиональная историография, знал вполне достаточно о цикле китайских династий, чтобы утверждать, что только у Запада была история. Ко времени I Мировой войны Шпенглер, Вебер и немного позже Тойнби обозревали цивилизации Китая и Индии, Египта и Месопотамии, Персии и арабского мира, иногда Мексики, Перу и Полинезии, наряду с более привычным сравнением греко-римской античности со средневековой и современной Европой. Противоположный взгляд интеллектуалов XX в. состоял в том, чтобы отказаться от этих глобальных перспектив в пользу того аргумента, что история показывает нам не более чем нас самих, безнадежно контекстуализированных в бесструктурности. В эпистемологической версии известного

выражения *все, чему мы учимся у истории, — это то, что учиться у истории невозможно*. Давайте кратко рассмотрим названные две стороны исторического сознания этого века.

Свивая нити аналитической макроистории

Раннее распознавание паттернов кристаллизовалось в расплывчатой идее о том, что «история повторяет себя». Тойнби начал свой поиск паттерна всех цивилизаций, потому что мировые войны Британии и Германии напомнили ему смертельную борьбу либеральных Афин с авторитарной Спартой. Шпенглер сопоставлял свидетельства повторения последовательностей культурного расцвета и упадка во всем мире, причем каждая отличалась своей уникальной ментальностью, подобно мелодии, играемой в разных ключах. Маркс, чье знание неевропейской истории ненамного ушло от гегелевского, материалистически описывал ее статическую природу как восточную деспотию — модель, которую впоследствии в 1950-е гг. разрабатывал Виттфогель. Заключив в скобки незападный мир, Маркс начал с прозрения, что классовый конфликт в римском мире повторялся аналогичными классами в средневековом феодализме и современном капитализме. Марксистская школа исторической науки — это значительное интеллектуальное движение XX в. — предлагает материалистическую параллель к Шпенглеру, выявляя абстрактные последовательности, при каждом прохождении повторявшиеся в различных модальностях. Случаи истории, повторяясь, не обязательно предполагают циклы, подобные повороту колеса; более поздние поколения ученых начали видеть, что повторяющееся может быть рассмотрено более аналитично и что многочисленные процессы могут совмещаться, сплетая ряд исторических полотен, каждое из которых своеобразно в своих деталях.

Среди идей всех макроисториков начального периода идеи Вебера оказались наиболее живучими. Отчасти это произошло оттого, что понадобился почти целый двадцатый век, чтобы по достоинству оценить масштаб его работы. Его аргумент «*Протестантской этики*» был знаменитым в 1930-х гг., но только к 1950-м и 60-м гг. относится высокое признание его сравнения мировых религий, призванного показать, почему христианство, продолжая определенные образцы иудаизма, дало толчок динамике нововременного капитализма, тогда как цивилизации конфуцианства, буддизма, индуизма и ислама этого не сделали. Также постепенно становился все более влиятельным Веберов метод демонстрации того, как переплетаются множественные измерения социальной причинности. Сейчас почти везде ученые признают, что в каждом анализе должны учитываться три измерения: политика, экономика и культура; хотя, как утверждали структуралистски настроенные марксисты 1970-х гг., в конечном счете одному из этих измерений должно быть отдано главенство. Но есть и отрицательная сторона превосходства Вебера. Снятие слоев с веберовских понятий создало сферу, богатую разными исследовательскими нишами, а возможности развития веберовских идей то в одном, то в другом направ-

лении обеспечили ему репутацию великого классика социологической макроистории. Сам процесс раскрытия [наследия] Вебера как многогранного образа не позволял в течение многих десятилетий видеть как раз то, что ведет далее, за него. Только сейчас мы приобретаем способность видеть достижения Вебера в их полноте и можем в полном свете дня видеть его пределы. Эти пределы состоят не столько в его аналитическом аппарате, сколько в его взгляде на Всемирную историю. При всем его несогласии с Гегелем и Марксом Вебер разделяет с ними европоцентричный взгляд: для всех важных целей история тех стран, что расположены восточнее Палестины или Греции, понималась как аналитически статическое повторение, в то время как динамические исторические превращения мыслились присущими только Западу. В некоторых своих работах [Collins, 1986, 1997] я предложил при помощи веберовских аналитических средств выйти за пределы европоцентризма Вебера.

Период исследований, начавшийся с середины 1960-х гг. и продолжающийся в настоящем, может быть по праву назван *Золотым Веком макроистории*. Незрелость начального периода миновала, были предприняты плодотворные начинания, и поколение исследователей проделало работу по построению множества новых парадигм. Аналитически, главным стилем этого периода является взаимодействие веберовских и марксистских идей. Хотя догматическая приверженность тому или иному классику и существует в некоторых научных лагерях, сквозной для творческого ядра Золотого Века стала прагматическая установка. Марксо-веберовская смесь [представлений] добилась превосходства потому, что набор ключевых идей этих традиций доказал свою плодотворность в неожиданных направлениях.

Наиболее поразительное накопление знания имело место в излюбленной теме Маркса — теме революции. Начавшись с расширения взгляда на экономическую причинность, результатом стала революция парадигмы в теории революции. Баррингтон Мур и Артур Стинчкомб, за которыми последовали Джефри Пейдж и Теда Скочпол, отметили, что эпохой революций был не столько промышленный капитализм, сколько предшествовавший ему период аграрного капитализма. Рыночное сельскохозяйственное производство было средоточием классовых конфликтов от Английской революции до Вьетнамской революции, а изменяющиеся отношения и структуры собственности сельскохозяйственного капитализма определили нововременные политические трансформации в левом, правом или центральном направлениях. Идя дальше, Скочпол и Джек Гольдстоун показали, что один лишь классовый конфликт не достаточен для революции; он должен сопровождаться фискальным кризисом государства и сопутствующим ему расколом между государственной элитой и владельцами собственности по вопросу о восстановлении государственных финансов. Скочпол отмечает сдвиг парадигмы к тому, что может быть названо *теорией революции как государственного распада* (*a state breakdown theory of revolution*). Скочпол и Гольдстоун разрабатывают общую модель распада государства как различные цепи все более ранних причин, сосредото-

чиваясь соответственно на геополитических напряжениях и демографически обусловленных изменениях цен [Stinchcombe, 1961; Moore, 1966; Paige, 1975; Skocpol, 1979; Goldstone, 1991].

Другое направление исследований продолжило чисто марксистскую линию. Здесь предпосылка главенства экономики была сохранена при сдвиге сферы от традиционного фокусирования на национальном государстве к капиталистической мировой системе (world system). Этому воскрешению марксизма помог дипломатический брак со школой Анналов. В работе Броделя 1949 г. *«Средиземноморье и средиземный мир во времена Филиппа II»* создано грандиозное историческое полотно с помощью терпеливого накопления исследований материальных условий повседневной жизни, а также торговых и финансовых потоков [Braudel, 1972]. Бродель описал первую из европейских миросистемных (world-system) гегемоний — испано-средиземный мир XVI в. Валлерстайн в начатой в 1974 г. и все еще продолжающейся многотомной серии работ теоретизировал Броделев мир в марксистском направлении [Wallerstein, 1974, 1980, 1989]. Валлерстайн возглавил *миросистемную школу*, описывающую последовательное распространение европейской миросистемы по земному шару через последовательность кризисов и сдвигов гегемонии. Миросистемное научное направление стало центром для мировых исследований, давая теоретический резонанс работе региональных специалистов, темы которой — от торговли в малаккских проливах до товарных цепей Латинской Америки. Подобно школе Анналов, миросистемный лагерь является стратегическим альянсом детализированных и специализированных историй; Золотой Век грандиозного исторического виденья настал благодаря объединению ведущихся в течение столетия исследований профессиональных историков. Массовое распространение университетов и историков в них стало основой для марксистского возрождения в науке середины XX в. Миросистемный марксизм дал двигатель, с помощью которого [исторические] специализации, без него остававшиеся бы малоизвестными, могли объединиться в грандиозном марше по направлению к парадигмальной революции.

Все действующие интеллектуальные движения имеют свои внутренние конфликты и неожиданные линии обновления. Миросистемный лагерь не остался концептуально статичным. В наиболее раннем периоде, представленном *теорией зависимости* Андре Гундера Франка, подчеркивалось, что отсталость и неразвитость (underdevelopment) стран, миросистемный эквивалент угнетения пролетариата, создается и возрастает сразу же по мере проникновения в эти страны мирового капитализма. Это утверждение было атаковано исходя из фактических оснований, и теория зависимости отступила к позициям зависимого развития: развитие может происходить в условиях капиталистической зависимости, хотя относительный разрыв между метрополией и периферией постоянно увеличивается. Более того, есть случаи восходящего движения в миросистеме, от периферии через полупериферию в ядро, а иног-

да (как в Северо-Американском регионе, который в свое время стал Соединенными Штатами) даже в гегемонию внутри ядра. В структуралистском истолковании капиталистическая миросистема является множеством позиций, которые могут быть заполнены различными географическими регионами. Есть место только для малой зоны гегемонии, окруженной ограниченной областью ядра, где сосредоточены капитал, предпринимательские инновации и наиболее привилегированные рабочие; есть всегда относительные расхождения в богатстве между этим регионом, полупериферией и периферией, зависящие от потоков капитала, технологических и трудовых отношений, задаваемых в центре. В структуралистской версии миросистемной теории принято считать, что социальная мобильность может быть направлена вверх и вниз внутри системы, но всегда остается относительная привилегия или субординация нескольких зон. Когда я это пишу, в конце 1990-х гг., еще остается гипотезой без окончательного доказательства, будет ли направлена мобильность вверх или вниз. Схожие основания имеет внушительная теоретизация динамики волн расширения и сокращения мировой экономики, а также устойчивой структуры войн за гегемонию и сдвигов гегемоний (в работах [Sanderson, 1995; Arrighi, 1994; Chase-Dunn, 1989] есть полезные обзоры). Еще более спекулятивной остается переделка в миросистемном духе старого марксистского предсказания о будущем кризисе таких размеров, что сама капиталистическая система будет превращена в мировой социализм.

При всей этой неопределенности миросистемное исследование сообщает энергию и живость течений Золотому Веку макроистории, оно расширяет и объединяет множество специализированных и региональных историй, даже если концептуальная модель не так устойчива в своих основаниях, как подходы, развитые в более узких пределах модели революций как государственных распадов.

Другое направление творческого развития миросистемной модели было задано сомнением в ее европоцентрической точке отсчета. Валлерстайн, как и Маркс, концептуально отличал большие региональные структуры (обозначенные как мир-империи), которые, будучи структурно статичными, не способны к самостоятельному экономическому росту, от капиталистических миросистем — регионов с балансом силы между соревнующимися государствами, дающим пространство для маневра, где капитализм становится господствующим. На практике последняя категория оказывается европейским капитализмом, в то время как структурное состояние мир-империй объединяет античное Средиземноморье и незападный мир. Точка отсчета для капитализма у Валлерстайна та же, что у Вебера, — Европа XVI в. Другие исследователи взяли модель капиталистической миросистемы и применили ее к предшествующему времени или к отдаленным зонам торговли, не зависимой, по меньшей мере изначально, от европейской мировой системы. Джанет Абу-Луход описывает главенствующую (superordinate) мировую систему Средних веков, связи между сериями торговых зон, тянущихся, подобно низке сосисок, от Китая через

Индонезию в Индию, к арабскому миру с центром в Египте и, наконец, соединяющихся с европейской зоной хвостовым концом этой цепи. Абу-Луход преобразует аналитический вопрос, спрашивая, как мы можем объяснить не столько подъем Запада, сколько падение Востока [Abu-Lughod, 1989]. Бродель в своей поздней работе также описывает серию отдельных мировых систем в период 1400–1800 гг., включая в нее не только рассмотренные в средневековой сети у Абу-Луход, но также Турцию и Россию. Бродель предполагает, что на экономическом уровне перед промышленной революцией между ними существовала грубая параллель, пока они не были опрокинуты позднейшим европейским вторжением.

Другие исследователи применили логику моделей мировых систем еще к более далекому прошлому. Чейз-Данн и Холл [Chase-Dunn and Hall, 1991, 1997] утверждают, что в регионах с безгосударственными племенами и в периоде наиболее ранних государств, известных по археологическим данным, никогда не стоял вопрос об изолированных единицах, индивидуально развивавшихся в локальных обстоятельствах, но уже тогда существовали региональные мировые системы с ядрами и периферийными торговыми зонами. В такого рода усилиях аналитический упор на мировые системы претерпел сдвиг, распространяя модель на все более далекое прошлое. Для некоторых исследователей специфически капиталистический характер мировых систем становится несущественным, для других торговые отношения оказываются более решающей особенностью, чем отношения собственности, трудовые отношения или способы производства. Что явно делается все более центральным в модели, так это ее динамические качества: волны расширения и сокращения, подобные Кондратьевским, в течение одного-двух веков, разделяемые кризисами гегемоний и сдвигами господствующего ядра. Гиллс и Франк [Gills and Frank, 1991] схематизировали такие циклы от 3 000 г. до н. э. и до настоящего времени. Распространение модели мировых систем на все времена и регионы отвлекает внимание от других вопросов, прежде всего от того, что именно вызывает изменения в характере экономических и политических систем, столь различных, как основанные на родстве безгосударственные племенные сети, аграрное производство под принуждением военных элит, и несколько видов капитализма. Настоящая фаза все-миросистемного (omni-world-system) теоретизирования готова к тому, чтобы быть дополненной другими моделями.

Эти противоречия занимают ближайший передний план внимания. Более значительным для общего направления современного мышления было перманентное переключение видения самого способа, которым мы делаем макроисторию. Предмет анализа больше не может быть взят как изолированная единица, будь это отдельное племя в структурно-функционалистской антропологии, отдельная цивилизация эры Шпенглера или национальные государства, облюбованные национальными историками. Эти единицы существуют среди таких же других единиц; устойчивая структура их отношений между собой делает каждую из них тем, что она есть. Нельзя сказать, что для аналитичес-

ких целей мы не можем сфокусировать внимание на единственном племени, культурном регионе или национальном государстве. Но объяснения того, что происходит внутри этих единиц, отвлеченные от их миросистемного контекста, не только неполны; это могло бы иметь относительно малые последствия, поскольку объяснения всегда абстрагируются от массы деталей для того, чтобы сосредоточиться на самом важном. Миросистемная точка зрения выдвигает более сильное теоретическое требование: совсем отвлечься от этого внешнего контекста [единиц анализа] — значит упустить самые значимые детерминанты их политических и экономических структур. В важнейших отношениях все социальные единицы конституированы *извне внутрь*.

Данное переключение виденья к причинности извне-внутрь, начатое современным неомарксизмом, имело параллели на неовеберианской стороне. Это мой путь обращения к той первостепенной значимости объяснения государств через их межгосударственные отношения, иначе говоря, через *геополитику*, которая была выявлена во время нынешнего Золотого Века макроистории. Это также имеет предысторию. Понятие геополитики появилось к началу XX в. в атмосфере, которая ассоциировалась с националистическими военными политическими стратегиями. Маккиндер в Британии, Мэхан в США, Ратцель и Хаусхофер в Германии обсуждали важность сухопутной или морской силы, местоположение на земном шаре стратегических сердцевинных земель (хартлендов), обладание которыми обеспечивало господство над другими государствами. Тема геополитики приобрела дурной запах при нацистах и еще более в период послевоенной деколонизации. Но постепенно историческая социология государства сделала очевидным, что аналитически геополитика не может быть упущена из виду. Прежнее порождавшее путаницу смешение распалось на признание геополитических процессов и оправдание военного расширения: современная аналитическая геополитика скорее подчеркивает издержки и уязвимость геополитического сверхрасширения. Прежние геополитики были склонны придавать исключительность своему предмету, как в утверждении Маккиндера, что гегемония зависит от контроля над географическим хартлендом, находящимся в центре Евразии. Современные геополитики показывают, напротив, что расширение и сужение государственных границ определено соотношением между геополитическими преимуществами и неблагоприятными положениями соседствующих государств, где бы они ни находились на земном шаре.

Среди прочего на возрождение геополитической истории повлияла мировая история Вильяма Макнила. Его *«Подъем Запада»* (умышленно антишпенглеровское название), появившийся в 1963 г., свидетельствует о зрелости мировой историографии, накоплении достаточного количества исследований для того, чтобы история земного шара могла быть написана в привычной нарративной форме, без обращения к метафоре [McNeill, 1963]. В сравнении с цветистыми писаниями поколения пионеров мировая история Макнила — это труд профессионального историка, распространяющего стандартные тех-

нические приемы и приводящего накопившееся знание к тому виду, в котором Всемирная история перестает быть таинственным мельканием. Это взросление *мировой историографии* можно увидеть также в одновременном появлении других монументальных работ, охватывающих громадные просторы незападной истории: многотомный труд Джозефа Нидэма *«Наука и цивилизация в Китае»* [Needham, 1954–1984], *«Приключение ислама»* Маршалла Ходжсона [Hodgson, 1974]. Макнил успешно децентрирует мировую историю с европейской точки зрения, придавая главное значение процессу, с помощью которого «ойкумены» межцивилизационного контакта постепенно расширялись в течение нескольких тысяч лет. Макнил показывает значимость геополитических отношений в экспансии империй, их столкновениях и кризисах; он приводит множество случаев от крайнего востока до крайнего запада, когда государства подвергались вторжениям со своих окраин, сверх меры расширяли обеспечение армий (logistics) до отдаленных границ либо распадались на отдельные фрагменты. Военный аспект государства, возможно, был преходящим моментом в ранней работе Макнила, но он приобрел большую и явную значимость в его поздних трудах, особенно в книге *«Источник власти»* [McNeill, 1982], которая документирует всемирную историю общественной организации вооружений и их влияние на общество.

Наряду с мировой историей Макнила развитию современной науки о геополитике способствовал еще один тип компендиумов. Появились обширные *исторические атласы*, такие как серия под редакцией Макэведи [McEvedy, 1961 *а,б*, 1967; McEvedy and Jones, 1978]. Это также проявление синтеза, который стал сейчас возможным благодаря накоплению исторических знаний. Бесконечные хитросплетения истории государств становятся зримыми, когда мы можем исследовать их как серию карт, позволяющих нам видеть меняющиеся относительно друг друга территории государств. Трудности охвата всего этого материала в чисто вербальной форме — это одна из причин того, что прежние описательные истории или разделялись на специализированные нарративы, или придавали глянец общей структуре, сводящейся к нереально малому числу великих империй. Исторические атласы, появившиеся в 1960-е и 70-е гг., обозначили фазу консолидации информации, на основе чего может иметь место более явное теоретизирование.

Геополитически ориентированный, или военно-центрированный, взгляд на государство приобрел возросшее значение при помощи конвергенции трех областей знания: геополитической теории, теории революции как государственного распада и исторической социологии современного государства как расширяющегося аппарата военной организации и инструмента извлечения налогов.

В 1960-е–1980-е гг. начала складываться *аналитическая теория геополитики*. Стинчкомб, Боулдинг, Модельски, ван Кревельд, Поль Кеннеди и другие разработали ряд геополитических принципов [Stinchcombe, 1968; Boulding, 1962; Modelski, 1987; van Creveld, 1977, 1991; Kennedy, 1987]. В моем

синтетическом описании это составляет ряд причин, относящихся к динамике соответствующих экономических и материальных ресурсов соревнующихся государств; к географическим конфигурациям, влияющим на число потенциальных противников на границах, а также к издержкам обеспечения (logistical costs) и напряжениям, связанным с демонстрацией силы на различных расстояниях от ресурсных центров. В противоположность прежним геополитическим теориям начального периода современная геополитическая теория обрела множественность измерений: нет единственной, отвергающей остальные, причины экспансии или упадка государства, но есть сочетание процессов, которое может приводить к широкому кругу результатов. Хотя и остается естественная тенденция сосредоточения на судьбе великих государств-гегемонов, геополитика аналитически применяется не только к одиночным государствам, но и к зонам взаимоотношений государств, она охватывает времена и пространства, где существуют малые государства и баланс силы, равно как гегемонии и основные войны. Поскольку война и мир аналитически являются сторонами одного и того же предмета, геополитика предполагает теорию мирного времени, равно как и его противоположности.

Второй линией исследования, повышающей значимость геополитики, является теория революций как государственных распадов, особенно в формулировке Скочпол. Фискальный кризис в сердце основных революционных ситуаций наиболее часто вызывался накоплением долгов по крупнейшей статье государственных расходов — военной. Следующий шаг назад по цепочке причин — это геополитические условия, которые определяют, как много государство воевало, с какими издержками, с какими разрушениями или обретением ресурсов благодаря военному успеху. Я утверждал, что скочполианская модель государственного распада связана не только с геополитической теорией, но и с неовеберианской *теорией легитимности*. Теория государственного распада решительно материалистична, она подчеркивает упрямые военные и экономические условия. Остается сфера веры и чувства, культурных и социальных реальностей, которые многие социологи считали первичными в человеческом опыте, сфера живых смыслов, через которые фильтруются материальные условия, вызывая человеческое действие. Мое утверждение состоит в том, что теоретический круг замыкается привлечением идеи Вебера о том, что престиж могущества государства на внешней арене, будучи вершиной всего опыта мобилизации к войне, из всех социальных опытов является наиболее потрясающим. Легитимность государственных правителей связана в значительной мере с тем, как их народ чувствует влияние геополитики на свое государство. Расширяющиеся посредством войн государства и завоевавшие престиж деятели мировой арены повышают свою внутреннюю легитимность и даже помогают создать ее практически на пустом месте. Напротив, государства, испытывающие геополитические затруднения, не только соскальзывают к фискальному кризису и государственному распаду, но и обуславливают эмоциональное снижение, которое вызывает делегитимизацию.

Геополитика ведет к революции по обеим тропам — материальной и культурной.

Третье направление современных исследований показало, что нововременное государство развилось в первую очередь через разветвление его военной организации. Историки и социальные исследователи документировали «военную революцию» — громадное увеличение размера армий, начавшееся в XVI и XVII вв. Как ее следствие, начались организационные перемены: вооружения стали все в большей степени централизованно обеспечиваться государством, а не через местное производство, обеспечивающие обозы увеличились и стали более дорогими, армии обрели строгий порядок муштры и бюрократическую регламентацию. Здесь могут быть выделены две обобщающие работы.

В книге Майкла Манна *«Источники социальной власти»* (к настоящему времени — два тома [Mann, 1987, 1993]) показано, как преимущественно военные затраты наряду с долгами, оставшимися от прежних войн, приобрели угрожающие размеры в бюджетах нововременных государств. Манн доказывает, что последовательное увеличение масштаба военных издержек сначала во время военной революции и затем при наполеоновских войнах успешно мотивировало проникновение государства в гражданское общество: частично для надежности финансирования, частично для мобилизации экономических и людских ресурсов. Характерное для Нового времени проникновение государства в общество стало обоюдоострым мечом, создавая чувства национальной идентичности и преданности, но также мобилизуя классы на полноценное участие их членов на общественной арене в борьбе за политическое представительство и за другие уступки в ответ на фискальные требования. Манн играет неовеберианской козырной картой на поле марксистской теории классовой мобилизации: в модели, центрированной на государстве, именно развитие государства через экспансию его собственных особых ресурсов, организацию военной силы определяет, будут ли классы вообще мобилизованы как политические и культурные действующие лица. Тот же процесс проникновения государства в общество одновременно мобилизует националистические движения. Мы можем добавить здесь другую веберианскую мысль: если военно-обусловленное проникновение [государства] в общество произошло, то приводятся в движение и процессы бюрократизации, и процессы мобилизации интересов; организационные ресурсы нововременного государства теперь становятся инструментом, который используется для целей, весьма отдаленных от первоначальных военных, начиная с государства всеобщего благосостояния (welfare state) и до экспериментов с социализмом и культурной реформой.

Другим современным классическим обобщением военно-центрированной теории государственного развития является книга Чарльза Тилли *«Принуждение, капитал и европейские государства, 990–1990 гг.»* [Tilly, 1990]. Упорядочивая все изобилие доступного сейчас научного знания, Тилли показыва-

ет, как расходились пути государств, переживших военную революцию. В зависимости от того, какие были в их распоряжении виды экономической организации, государства рассчитывали на получение средств от городских купцов или от завоевания аграрных территорий; эти несколько ресурсных баз определяли трудность фискальной задачи и виды оппозиции, с которой сталкивались правители при увеличении финансирования своих армий. Когда из большого количества малых средневековых государств в результате геополитических процессов отсеялись немногие, нововременные государства кристаллизовались в ряд демократических или автократических политий, форма которых была задана этими различными фискальными базами.

Исторические пути государственной военной организации взаимосвязаны с внешними геополитическими опытами и внутренней борьбой по поводу налогообложения и представительства; результатом стало побуждение к революции и образование разных видов устройства нововременных государств.

Сферы научных исследований, обзор которых я только что сделал, являются основным доказательством моего утверждения, что мы живем в Золотом Веке макроистории. Очевидно, не все проблемы решены; но ни в каком периоде творческой работы никогда не решаются все поставленные проблемы — сделать так означало бы превратить обновление в застой, а творческие исследователи на своем пути всегда порождают новые темы. Что мы можем с уверенностью сказать, так это то, что масштаб и глубина нашего виденья Всемирной истории перманентно растут. С аналитической точки зрения у нас есть четкие контуры некоторых важных черт — таких, как теория революций как государственных распадов, миросистемный целостный образ (gestalt) в наиболее общем смысле поиска причинных процессов, направленных извне внутрь, элементы геополитических процессов, военно-ресурсная траектория развития современного государства. Я уделил главное внимание политическим и экономическим темам макроисторической социологии, потому что это темы, которые изучались наиболее упорно и по которым накопилось больше всего теоретических результатов. При таком масштабе обсуждения я должен опустить много других областей, в которых взросление современной социальной истории достигло критической черты или, по меньшей мере, преодолело порог, за которым уже идут работы значительной изощренности. Позвольте мне лишь упомянуть о некоторых успехах, которые были достигнуты *в историческом исследовании семьи* (школа Ласлетта, сравнительные работы Джека Гуди), *в истории цивилизующих манер* (Элиас, Меннел, Гудсблом), *в макроистории болезней и окружающей среды* (снова Макнил, Альфред Кросби), *в макроистории искусства* (Арнольд Хаузер, Андре Мальро). Другие работы быстро продвинули вперед *историю пола, сексуальности и материальной культуры.* Есть все признаки того, что Золотой Век макроистории продолжается. Подходы, первоначально разработанные для европейских обществ, как раз сейчас серьезно используются в исследованиях многих иных регионов (такова работа Икегами о цивилизующем процессе в Японии). Дюркгеймов

социологический микроскоп, становясь *макроскопом*, аккумулировал первый и второй циклы открытий; следующий цикл, несомненно, еще впереди.

Критики макроистории

Окинув взором сторону любовного романа XX в. с макроисторией, давайте теперь вернемся к противостоящей стороне. Наряду с развивающимися воззрениями охватывающей весь мир и аналитически просветленной истории существует контртема, атакующая ее неверные применения и опровергающая ее эпистемологию. Здесь мы также можем схематизировать обзор, выделив две волны, одна из которых соответствует поколению пионеров макроистории, а вторая — изощренной рефлексивности позднего XX в.

В 1930-е и 40-е гг. грандиозные исторические ви́денья отвергались на различных основаниях. Шпенглеровские неясные поэтические метафоры и религиозные декларации Тойнби были восприняты как изъяны, которые неизбежны в работах такого претенциозного масштаба. Поппер с отвращением к нацизму и советскому тоталитаризму утверждал, что ментальность, обозначенная в его индивидуальной терминологии как «историцистская» (предполагающая поиск исторических законов), находилась в самих корнях антидемократических движений. В более узкой профессиональной сфере антропологи противодействовали более раннему поколению, которое рассматривало этнографические материалы в сравнительно-историческом аспекте, конструируя элементы культуры в зависимости от того, какой вид «выживания» они представляли, исходя из более раннего звена эволюционного развития. Структурно-функционалистская программа возражала на это, что общество в целом должно тщательно изучаться как живой организм; следует выявлять, как его разнообразные институты объединялись в интегрированную систему, действующую в настоящем.

Первая волна возражений против макроистории оказалась эфемерной, и новое поколение историков и сравнительных социологов начало публиковать работы, которые я обозначил как относящиеся к Золотому Веку. В *антропологии* также вновь начался прилив. Начиная уже с 1949 г. и с возрастающей отчетливостью в серии работ 1950-х и 60-х гг. Леви-Стросс предпринял новый подход к написанию истории «народов без истории», т. е. племенных обществ без памятников письменности и, соответственно, без явного осознания исторических рамок для соотнесения [своего времени с прошлым]. Леви-Стросс предложил читать их скрытую историческую память, расщепляя символический код, который был использован для запоминания мифов. Этот метод привел его к реконструированию достижений эпохальной значимости, таких как практика приготовления пищи, которая отличает людей от животных, которых они едят [Lévy-Strauss, 1969]. Книга «*Мифологики*» Леви-Стросса является параллелью к его ранней работе о структурных моделях родства, где он пытался реконструировать паттерн революции родства, при которой от-

дельные родовые линии (lineages) конституировали себя как элиту, разрывая отношения первобытной взаимности (reciprocity) и приводя к стратификации государства. Структурализм Леви-Стросса имел двойственное отношение к истории; его сходство со структурным функционализмом и другими статическими структуралистскими теориями, подобными лингвистике Хомского, создавало впечатление, что здесь также рассматриваются неизменные структурные отношения. В то же время структуры были описаны как динамические отношения, неравновесные системы, которые не только мотивировали исторические изменения, но и оставляли символические остатки, по которым мы можем их восстанавливать. Структуры Леви-Стросса одновременно являются историческими и сверхисторическими во многом таким же образом, что и язык.

Через эту двойственность отступающая волна энтузиазма по поводу структурализма перетекала прямо в волну постструктурализма. Леви-Стросс не предложил никакого надежного способа ни для декодирования символической истории, ни для выявления корреляции (в прямом дюркгеймианском смысле) символов с социальными структурами. Во французском интеллектуальном мире провал проекта Леви-Стросса был воспринят как оправдание историзирования всех кодов. Установилось представление, что мы живем в мире, структурированном кодами, и видим его только сквозь линзы наших кодов. Но то, что мы видим сквозь них, переменчиво и ненадежно, будто очки сделаны из текущей воды.

Движение, атакующее макроисторию и наряду с ней любое предметное социологическое теоретизирование с широким аналитическим кругозором, питалось из нескольких потоков. Это влияние поздних поколений феноменологической философии; распространение гегельянской рефлексивности в экспансии Фуко в историю психиатрии, контекстуализирующей и релятивизирующей идеи Фрейда; поколение 1960-х, сочетающее бьющую по мозгам психоделическую «культурную революцию» с политическим радикализмом, связанное уже не с промышленными рабочими, а с движениями студентов-интеллектуалов; антизападничество этнических мятежей; восстание интеллектуалок-феминисток против господства мужских канонов, фиксированных в традициях написания текстов. Результатом стал внушительный альянс политических и интеллектуальных интересов. К этому мы можем добавить скрытое соперничество в мире ученых между специалистами, озабоченными лишь своими собственными нишами, и теми, кто занимается синтезом и помещает специализированные исследования в рамки более широких утверждений.

Общим знаменателем этой современной волны нападок на макроисторию является приоритет контекстуальности и партикуляризма. Это антиисторическое сознание, тем не менее, вырастает из тех же обстоятельств, что и противостоящее ему [сознание]. Сегодня антиисторики появляются в результате объедения историй. Постмодернистское мышление могло бы, вероятно, быть описано как вид рвоты историей, как гримаса отвращения, начавшаяся с разочарования в марксизме и в некоторой степени во фрейдизме, которые в

определенных модных кругах рассматривались как единственные Великие Нарративы, достойные того, чтобы о них знать.

И макроисторики текущего Золотого Века, и противники грандиозной истории, которые являются их современниками, суть продукты растущей волны осознания нашего местоположения в истории. Все мы, те, кто пишет историю, и те, кто пишет против нее, существуем и мыслим внутри истории; несомненно, будет написана будущая интеллектуальная история конца XX в., равно как и любая другая. Наши идеи, сам наш язык являются частью истории. Нет стандарта вне истории, по которому можно судить о чем-либо. Работает ли это признание на пользу макроисторикам или в их осуждение? Из тюрьмы контекстуальности нет выхода. Что отсюда следует?

Теория и аналитический партикуляризм

Давайте приведем две указанные позиции к прямому противостоянию. Я подчеркнул, что Золотой Век макроистории, в котором мы живем, зиждется на накоплении научной работы поколений историков. В модных сегодня направлениях философии разве это не основание для того, чтобы отбросить макроисторию как не более чем наивный эмпиризм? Мой ответ был бы прост: наш интеллект обусловлен тем грубым фактом, что сообщество, охватывающее тысячи историков и социальных исследователей, работало в течение нескольких столетий и что накопленные ими архивы были вскрыты Макнилом, Валлерстайном, Манном, Тилли и другими, так же как более пестрые архивы были вскрыты ранее Вебером и Тойнби. Будет лишь полемическим упрощением предполагать, что приверженность кого-либо к эмпирическому исследованию делает его виновным в забвении теоретической деятельности. Настолько же произвольно считать, что развитие теоретических интерпретаций происходит лишь с помощью учета других идей и гораздо менее с помощью таинственных прорывов в истории сознания. В социальной реальности интеллектуального мира сегодняшние представители гиперрефлексивных философий и защитники узкой контекстуальности являются продуктами того же накопления исторических архивов, что и макроисторики; единственное различие в том, что одна группа специализируется на истории интеллектуальных дисциплин, литературной критики и лингвистики, в то время как другая приблизилась к истории экономики, государственного устройства и религий.

Ответ на понятийную укорененность в исторических контекстах состоит в следующем: *нужно не меньше теории, а больше*. Скатывание обратно в локальную контекстуальность часто является путем безответных вопросов, которые оставляют нас не с большей умудренностью, но со скрытой зависимостью от непроверенных теорий, закодированных в самом используемом языке. Вся история теоретически нагружена. Усилие замаскировать этот факт приводит к плохой истории и плохой теории.

Нет такой вещи, как чисто нарративная история. Невозможно перечислять частности (particulars) без опоры на общие понятия. Существительные и

глаголы содержат скрытые обобщения («еще один из таких же»). Даже собственные имена не столь особенны (particularistic), как могут показаться, поскольку они выделяют некоторую целостность, у которой, как предполагается, есть продолжающиеся во времени контуры и которая включает скрытую теорию того, что удерживает эту «вещь» как целое: безобидное упоминание Франции или Парижа нагружено предпосылками. Дать имя, отвлеченное или индивидуальное, значит наложить схему того, что с чем соединено и что от чего отделено; на этом пути риторические формулы обретают реальность, а процессы со многими измерениями конструируются как единые. Кроме того, нарратив — это всегда отбор; среди разнообразных реалий, о которых можно было рассказать, лишь на некоторых сосредоточено внимание как на значительных, а их ряд заключает в себе предположительные причины того, что последует далее.

Давайте возьмем пример из того, что обычно считается среди партикуляристских нарративов движимым событиями с наименьшим привлечением разума, — из традиционной военно-дипломатической истории.

> Наполеон заставил своих закаленных в боях ветеранов двигаться маршем весь день, удивив австрийцев появлением 6000 человек поздно после полудня; к концу битвы австрийский контроль над Италией был утрачен.

Это звучит как нарратив, в котором история создается героическими индивидуумами, но его эффекты достигнуты отвлечением индивидуума от организационного контекста. Предполагается мир, в котором войска организованы в дисциплинированные армии, причем таким образом, что командир может осуществлять централизованный контроль над быстрым организационным ответом; далее, предполагается теория боя, по которой превосходящее по численности войско, собранное на определенных типах местности, выигрывает битву; предыдущий боевой опыт делает войска более способными к таким маневрам; скорость и время продвижения войск определяет результаты битвы. Эти предпосылки могут быть, а могут и не быть верны в общем случае; сейчас существует развитая военная социология, которая объясняет социальные и исторические условия, при которых такие вещи имеют или не имеют место. Наполеоновские предварительные организационные условия не существовали бы во времена галлов и потерпели бы провал в некоторых отношениях ко времени I Мировой войны. Нарратив также предполагает теорию государства, в которой решения принимаются непосредственно исходя из военных результатов; опять-таки это может быть верно при некоторых условиях, но только если мы специфицируем организационный контекст — победа армий визиготов в 410 г. не привела к тому, что Визиготская империя обрела контроль над Италией, тогда как победа Наполеона в 1800 г. привела к созданию Французской империи.

То, до какой степени описанная последовательность событий делает рассказ связным, а объяснение адекватным, не может быть определено лишь на

основе рассмотрения единственного нарратива. Моя позиция состоит не в том, что нарративные истории наполеоновского типа изначально ложны, а в том, что мы знаем, почему и до какой степени они верны, только в свете более общего теоретического знания. Такое знание не появляется просто из воздуха. Оно приходит частично в результате изучения достаточно широкого круга иных историй, которые позволяют нам говорить, что является центральными условиями, а что — локальными сопутствующими обстоятельствами, не имеющими значимого влияния на данный отдельный результат. То, что делает социологическая теория — это накопление узнанного нами из историй.

Специализированные, имеющие локальный контекст истории не свободны от теории; их антитеоретические утверждения означают, что *имплицитно предполагаемые ими теории — это лишь те, что достаточно стары и уже стали общими предпосылками*. В других моих работах показано, что истории демократии особенно испорчены бессознательным принятием популярных идеологических категорий. Социологические макроисторики имеют преимущество сознательной проверки, действительно ли их модели масштабных процессов во времени и пространстве соответствуют тому, что мы узнали из каких-либо иных областей социологического исследования. Процессы полевых сражений, упомянутые выше, понимаются более надежно в той степени, в какой мы находим их сочетающимися с анализом организаций и их распадов, или явлений насилия «лицом к лицу», или эмоциональной солидарности в группах. Социологу, занимающемуся выявлением динамики, скрытой в исторических нарративах, можно настолько верить, что он находится на верном пути, насколько он может сопоставить и объединить (cross-integrate) исторические паттерны с другими частями социологии.

Конечный продукт не обязательно должен быть теорией как таковой. В свете такого накопления социологического знания через явную теорию мы более способны продуцировать новые истории. Это не обязательно новые сравнения или новые случаи (что является удачей, поскольку объем истории конечен, а отчетливые случаи макрофеноменов скоро будут исчерпаны), но исследования, которые выделяют новые грани наших ранее изученных нарративов для анализа с большей глубиной и свежим взглядом. (Например, значительно пересекаются случаи, изученные в работах [Moore, 1966; Skocpol, 1979; Goldstone, 1991, Downing, 1993].) Хоть и давно известно, что теория и [эмпирическое] исследование рециркулируют друг через друга, но тем не менее это верно и является важной рекомендацией, даже когда модные метатеории утверждают, что тот или иной полюс нередуцируемо автономен. Когда история и общая теория идут каждая своим отдельным путем, то действительно остается в тени то, что одна смутно и бессознательно восприняла от другой. Результатом является плохая история и плохая теория.

Дадим Фернану Броделю последнее слово по поводу отношения между глубинными течениями абстрактной теории, картированной макроисторией, и

деталями, которые в своей совокупности предстают перед глазами современников в форме

> «l'histoire événementielle», истории событий: поверхностных возмущений, пенистых гребней, которые приливы истории несут на своих мощных спинах. История кратких, быстрых, нервозных флуктуаций, по определению, сверхчувствительна; самое малое колебание заставляет все антенны трепетать. Но, будучи таковой, она [история] является самой возбуждающей, самой щедрой для человеческого интереса, а также самой опасной. Мы должны научиться не верить такой истории с ее еще пылающими страстями, как она была прочувствована, описана и прожита современниками, чьи жизни были так же коротки и мимолетны, как наши... Опасный мир, но это его заклинания и чары мы должны изгонять, в первую очередь, составляя карты тех подводных течений, часто бесшумных, чья направленность может быть выявлена только на протяжении больших периодов времени. Полнозвучные события являются часто лишь одномоментными вспышками, поверхностными проявлениями этих больших движений и объясняются только через последние. [Braudel, 1972] (*Предисловие к первому изданию*).

Глубинными для сегодняшних социологических макроисториков являются аналитически глубокие, но описательно простые и широкие течения. Метафора не должна привести нас к заключению, что они на большой глубине от поверхности, скорее они соединяются вместе и тем самым производят бесконечное множество паттернов, которые и есть то, что мы считаем поверхностью событий.

ЛИТЕРАТУРА

Abu-Lughod J. Before European Hegemony: The World System A.D. 1250–1350. N. Y.: Oxford Univ. Press, 1989.

Arrighi G. The Long Twenthieth Century. L.; N. Y.: Verso,1994.

Boulding K. Conflict and Defence. N. Y.: Harper and Row, 1962.

Braudel F. [1949]. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II: 2 vols. N. Y.: Harper and Row,1972.

Chase-Dunn C. Global Formation: Structures of the World Economy. N. Y.: Basil Blackwell, 1989.

Chase-Dunn C., Hall T. Eds. Core/Periphery Relations in Precapitalist Worlds. Boulder: Westview Press, 1991.

Chase-Dunn C., Hall T. Rise and Demise: Comparing World-Systens. Boulder: Westview Press, 1997.

Collins R. Weberian Sociological Theory. N. Y.: Cambridge Univ. Press, 1986.

Idem. Prediction in Macrosociology: The Case of the Soviet Collapse // *American J. of Sociology*. 1995. Vol. 100, N 8. P. 1552–1593. См. перевод этой статьи в настоящем выпуске Альманаха.

Idem. An Asian Route to Capitalism: Religious Economy and the Origins of Self-Transforming Growth of Japan // *American Sociological Review*. 1997. Vol. 62. P. 843–865.

Crosby A. W. Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900–1900. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1986.

Downing B. The Military Revolution and Political Change: Origins of Democracy and Autocracy in Early Modern Europe. Princeton, N. J.: Princeton Univ. Press, 1993.

Gills B., Frank A. G. 5000 Years of World System History: The Cumulation of Accumulation // *Core/Periphery Relations in Precapitalist Worlds*. Boulder: Westview Press, 1991.

Goldstone J. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley: Univ. of California Press, 1991.

Hodgson M. The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1974. Vol. 1–2.

Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. N. Y.: Random House, 1987.

Lévy-Strauss C. The Elementary Structure of Kinship. Boston: Beacon Press,1969.

Mann M. The Sources of Social Power. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1987. Vol. 1: A History of Power from the Beginning to A. D. 1760; 1993. Vol. 2: The Rise of Classes and Nation-States, 1760–1914.

McEvedy C. The Penguin Atlas of Medieval History. Harmondsworth: Penguin Books, 1961*а*.

Idem. The Penguin Atlas of Modern History (to 1815). Harmondsworth: Penguin Books, 1961*б*.

Idem. The Penguin Atlas of Ancient History. Harmondsworth: Penguin Books, 1967.

McEvedy C. and Jones R. Atlas of World Population History. L.: Allen Lane, 1978.

McNeill W. The Rise of the West: A History of the Human Community. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1963.

Idem. Plagues and Peoples. Harmondsworth: Penguin, 1979.

Idem. The Human Condition: An Ecological Perspective. Princeton: Princeton Univ. Press, 1980.

Idem. The Pursuit of Power: Technology, Armed Force and Society since AD 1000. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1982.

Modelski G. (Ed.) Exploring Long Cycles. L.: Lynne Rienner Publ., 1987.

Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy. Boston: Beacon,1966.

Needham E. and colloborators. Science and Civilization in China: 6 vols. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1954–1984.

Paige J. Agrarian Revolution. Berkeley: Univ. of California Press, 1975.

Sanderson S. Social Transformations: A General Theory of Historical Deverlopment. Blackwell, 1995.

Skocpol Th. States and Social Revolutions. N. Y.: Cambridge Univ. Press, 1979.

Stinchcombe A. Agricultural Enterprise and Rural Class Relations // *American J. of Sociology*. 1961. Vol. 67. P. 165–176.

Idem. Constructing Social Theories. N. Y.: Harcourt Brace, 1968.

Tilly Ch. Coercion, Capital and European States, AD 990–1990. Oxford: Basil Blackwell, 1990.

van Creveld M. Supplying War: Logistics from Wallerstein to Patton. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1977.

Idem. Technology and War: From 2000 B.C. to the Present. N. Y.: Free Press, 1991.

Wallerstein I. The Modern World-System. N. Y.: Academic Press, 1974. Vol. 1; 1980. Vol. 2; 1989. Vol. 3.